

# Кризис бескризисного общества

АЛЕКСАНДР  
КУСТАРЕВ

Мы имеем новое социалистическое общество, не знающее кризисов.

Сталин (1936)

**Б**равурная декларация товарища Сталина была бы смешной, не произнеси он ее в разгар самого мрачного эпизода советской истории. Сталин либо обманывал всех (включая самого себя), либо не заметил кризиса – не заметил, по всей вероятности, потому, что управляемое им общество попросту никогда из кризиса не выходило. Чтобы попытаться определить существо этого кризиса, я хотел бы обратиться к фрагменту одной работы о практике «чисток» в СССР 1930-х – работы, до сих пор не востребованной. Это книга «Русская чистка и получение признаний», опубликованная в 1951 году. Ее написали Фридрих Хоутерманс и Константин Штеппа (Штепа) под псевдонимами Ф. Бек и У. Годин<sup>1</sup>.



- 1** Бек Ф., ГОДИН У. *Russian Purge and Extraction of Confession*. New York: The Viking Press, 1951. P. 214–277. Я положил глаз на эту работу лет тридцать назад. Неоднократно предлагал разным изданиям организовать ее обсуждение, последний раз десять лет назад. Признаюсь, что мою инициативу сдерживало отсутствие русского перевода; я не хотел сам тратить время на работу, с которой справился бы любой аспирант. И не хотел комментировать этот текст в одиночку, уверенный в том, что без авторитетной поддержки моя инициатива останется абсолютно бесплодной. Недавно обстоятельства сложились так, что мне оказалось удобнее сделать перевод самому. Время уходит, и я возвращаюсь к идее ввести текст Бека и Година в оборот – будь, что будет. Полный текст главы из книги Бека и Година я помещаю в блоге *aldonkustbunker*.

АРХИВ «НЗ»

003

*Александр Кустарев (р. 1938) – историк, социолог, независимый публицист, до эмиграции из СССР (1981) занимался проблемами экономического развития стран «третьего мира», в 1980–1990-х годах работал в русской службе Би-би-си, в 1997–2006 годах – ведущий научный сотрудник Института русской истории РГГУ. Колумнист журнала «Неприкосновенный запас».*

Связь феномена массовых репрессий с феноменом российской («советско-союзной») социалистической государственности до сих пор остается не артикулированной достаточно содержательным образом. Какое-то время два этих явления вообще никак не соединялись.

Довольно долго масштабы репрессий просто не были известны. Слухам о них западная общественность не хотела верить отчасти потому, что открывавшаяся картина выглядела шокирующей и неправдоподобной, а отчасти – из-за собственных антикапиталистических настроений и надежды, что капитализму есть альтернатива и она реализуется в СССР. Когда же феномен репрессий оказался у всех на виду, да еще и был по инерции раздут до гомерических масштабов, его быстро объявили объясненным с помощью концепции тоталитаризма и антикоммунистических представлений о революции и большевизме как о греховных патологиях сознания – с оттенком либерально-демократического благомыслия (Роберт Конквест), антропологического пессимизма (Абдурахман Авторханов) или старорежимной «белой» идеологии (Александр Солженицын).

Теперь тоталитаризм исчез из советологического мейнстрима, «Большой террор» Конквеста подвергся критике; об Авторханове – авторитетном, кстати, только в России – просто забыли, а «Архипелаг ГУЛАГ» даже в России никогда не имел научно-исследовательского статуса – он «Архипелагу» и не нужен.

Однако заменить эти объяснительные версии до сих пор нечем. В России интерпретации репрессий по-прежнему остаются на уровне «разоблачений – обвинений – оправданий» разных действующих лиц и их идеологий и в сущности (вот ирония!) сводятся к тому же, к чему сводились поиски «виновных» в ходе самих репрессий. А зарубежная советология останавливается на уровне наблюдений, которые, часто будучи вполне содержательными, неоправданно претендуют на статус теории, недостаточность которой, правда, тут же глубокомысленно оговаривается. В случае интерпретации «советского феномена» академия особенно не преуспела, поскольку почти всю свою энергию потратила на добычу фактов, долгое время остававшихся недоступными. А когда они стала доступны, увлеклась их экзальтированным и даже злорадным мушкетированием. Российское обществоведение как род занятий было подавлено. А свободная западная «советология» очень мало обращалась при изучении своего объекта к тому же самому аппарату, который использовался для изучения западных

*blogspot.com. Ее очень краткий пересказ сделал в своем блоге Игорь Петров в 2011 году: <https://labas.livejournal.com/924404.html>.*

обществ<sup>2</sup>. Отчасти вследствие слишком узкой специализации, а отчасти в силу предрассудочного мнения, будто «абсурд» советской действительности не поддается рациональному толкованию. Подсознательно искалась такая теория, которая подтвердила бы уникальность «феномена России» и противоположность советского опыта опыту всемирному. Между тем фактура, на которую мы смотрим теперь издали и со стороны, не равна самой себе. Все, что произошло в ходе возникновения-становления феномена, именуемого «советским обществом» или «советским государством», – это эпизод социогенеза и подлежит интерпретации в соответствующих дискурсах.

Книга Бека и Година подталкивает наше воображение именно в этом направлении. Она не отличалась бы от других мемуаров бывших заключенных, если бы не ее последняя (VIII) глава, названная авторами «Теории»<sup>3</sup>. В ней изложены разные объяснения репрессий, имевшие хождение среди самих репрессированных. Идея записи подобного фольклора принадлежит скорее всего Константину Штеппе (Годину), поскольку точно такая же глава есть в его собственном – вероятно, более раннем – сочинении «Ежовщина»<sup>4</sup>. Но в «Русской чистке» она в три раза больше по объему и гораздо богаче содержанием.

У этого уникального текста есть с точки зрения исследователя несколько достоинств. Стоит начать с того, что он интересен как материал *sui generis*. В сущности это коллекция интеллектуального фольклора, то есть продукта народного сознания. Его можно использовать как своего рода документ восприятия и толковать в понятиях социологии знания. Тем более, что Бек и Годин уже это делают сами, примешивая к сделанному ими пересказу некоторые собственные соображения по поводу ментальности своих информантов и мотивации их

- 2 Насколько мне известно, единственный, кто попытался контекстуализировать советский опыт в дискурсе социологии был Джерри Хаф: Hough J.F. *The Soviet Union and Social Science Theory*. Cambridge: Harvard University Press, 1977 (особенно важна глава «The Comparative Approach and the Study of the Soviet Union», р. 222–240). Но дело у него ограничилось хорошо всем знакомой трактовкой советского общества как бюрократического *par excellence* с обычными ссылками на Макса Вебера и Баррингтона Мура, а также не развернутой как следует реминисценцией «концепции власти» со ссылкой на Роберта Даля. Слово *purges* в предметном указателе отсутствует: такое впечатление, что автор не счел, что «чистки» вообще заслуживают внимания социологии.
- 3 В необозримой литературе о репрессиях книга Бека и Година вообще почти никогда не упоминается. Один из немногих упомянувших эту работу был Джон Арч Гетти. Но то, как он это сделал, может только отбить у читателя интерес к ней. Гетти, говоря о тюремно-лагерных мемуарах «эмигрантов-перебежчиков», указывает на их ненадежность и добавляет, что «они дают некоторое представление о том, как лагеря выглядели, но не объясняют, как они возникли». И упоминает книгу Бека и Година как образец этого жанра: GETTY J.A. *Origins of the Great Purges. The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, P. 213, 266. И так аттестована чуть ли не единственная вообще мемуарная книга, где именно такая попытка сделана! Невозможно было выбрать менее подходящий пример. Это граничит с диффамацией.
- 4 См.: Штеппа К. *Ежовщина* ([www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1810](http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1810)). Когда эта работа была написана, не сообщается. Я предполагаю, что раньше, чем совместная с Бексом книга. Иначе зачем было выбрасывать из главы в «Русской чистке» самые интересные места? Вызывает удивление и то, что публикаторы работ Штеппы в Интернете ни разу не упоминают его сотрудничество с Хоутермансом.



дискурсивных упражнений. В этом качестве коллекция Бека и Година обогащает наши представления об умственной жизни советского общества.

Но еще интереснее другое. Некоторые записанные Беком и Годиним теории сталинских репрессий, хотя и не имеющие (по своему происхождению) формального сертификата «научности», своим интеллектуальным качеством заметно превосходят множество более поздних работ, подобный сертификат имеющих. Отчасти это объясняется тем, что среди собеседников Бека и Година были образованные люди с развитыми познавательными рефлексами и навыками аналитического суждения. Интеллигентский умственный фольклор – это не то же самое, что фольклор простого обывателя, даже умудренного опытом. Нередко это устные наброски того, что в нормальных условиях могло бы стать письменным текстом, сделанным по всем правилам рационального дискурса. Так, например, в одном случае Бек и Годин ссылаются на российского профессора истории, получившего образование еще до революции под руководством видного историка, после революции из России уехавшего<sup>5</sup>; в другом месте – на иностранного ученого и священника, приехавшего в СССР строить социализм. В некоторых фрагментах Бек и Годин – нарушая, конечно, правила регистрации фольклора – явно добавляют кое-что от себя, а по крайней мере две из семнадцати воспроизводимых ими теорий принадлежат одному из них (или обоим) полностью.

Так или иначе, в коллекции Бека и Година обнаруживаются несколько тезисов, которые они ввели в оборот раньше всех, за что авторам «Русской чистки» следует воздать должное. Кроме того, у них можно найти и такие интерпретации, которых до сих пор нет в нынешнем каноническом наборе объяснений того, что произошло в СССР между 1930-м и 1955 годом<sup>6</sup>, и которым вполне можно приписать статус научных высказываний. Дальнейшая разработка (или доработка) этих тезисов и их систематизация в форме целостного представления о «советском феномене» я надеюсь, еще предстоят. Теперь же для примера я хотел бы обратить внимание лишь на один из них. Вот несколько коротких извлечений из текста Бека и Година (с указанием страниц их книги).

«Класс чиновников, как и всякий другой господствующий слой, стал искать способ обезопасить свои позиции; нетрудно себе пред-

5 Возможно, здесь имеется в виду сам Константин Штеппа, поскольку он учился в Петербургском университете у Михаила Ростовцева. В некоторых местах хорошо заметна эрудиция, явно зависящая от тематики штудий Ростовцева.

6 Краткий обзор этого канонического набора см. в: Юнге М., Биннер Р. *Как террор стал большим. Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения*. М.: АИРО-XX, 2003. С. 208–216. Сравните этот обзор с семнадцатью теориями в коллекции Бека и Година. Последняя намного интереснее.

ставить, что центральная власть, наоборот, этого не хотела. Подавляя этот класс, Сталин мог опереться не только на массу молодых партийцев, для которых между прочим это открывало неожиданные карьерные возможности, но так же и на широкие народные массы, которые всегда рады наблюдать падение тех, кто живет в роскоши, особенно если это их же высоко взлетевшие товарищи» (р. 255).

«Одна из главных характеристик правящего класса – это долговременность и наследственность его власти. И вот этого как раз мы не обнаруживаем у советских чиновников. Мы обращали внимание на усилия этой группы превратиться в настоящий класс через монополию на образование, nepотизм и другие средства. Это задало импульс развитию всей советской системы. Но мы также обратили внимание на силы, пытавшиеся помешать этому. Во всех бюрократических обществах прошлого, где власть была прерогативой должности, те, кто занимал определенное должностное положение, должны были бороться с деспотической [верховой] властью [power], чтобы получить неотчуждаемый статус аристократии и превратить свое должностное положение из временного в постоянное» (р. 261).

«Советское общество, в котором власть оказалась в руках выдвинутого массами чиновничества, столкнулось в 1930-е годы с той же проблемой. Чисто идеологические обязательства и поначалу весьма скромный потолок зарплаты, положенной членам партии, от которых ожидалось еще дополнительные усилия без привилегированных компенсаций, оказались совершенно неадекватны. Новая каста чиновников делала все, чтобы воспользоваться материальными преимуществами, которые ей давал контроль над социалистической собственностью. Эта каста в первом поколении еще не имела возможности превратиться в правящий класс. Она также испытывала давление снизу: нижний слой партии завидовал ее привилегиям. Центральная власть ясно это увидела и почувствовала угрозу собственной безопасности в возникновении новой касты мандаринов. И казалось очевидным, что этих людей следовало ликвидировать. Это была блестящая стратегия. Бюрократическая структура государства сохранялась нетронутой. Преемники смещенных и арестованных автоматически получали привилегии, связанные с занятием должности: они въезжали в освобожденные квартиры и получали в распоряжение личное имущество своих репрессированных предшественников. Перед армией мелких служащих открывались возможности быстрого продвижения наверх, на что иначе ушли бы десятилетия» (р. 263).

«Индивид поднимается со дна и затем опускается туда обратно. Таким образом ему не позволяли обеспечить себе и своей семье надежного существования. А возможность такое существование обеспечить – это одна из важнейших характеристик принадлежности к правящему классу. [...] Пока работает механизм заполнения вакансий, никакое постоянное по составу классовое



образование, аналогичное знати или буржуазии, руководящим феодальным или капиталистическим государством, возникнуть не может. Малочисленную постоянную группу, отправляющую верховную власть, сравнительно легко защитить – в частности, потому, что непрерывные перемены в более низких эшелонах власти ослабляют их и не позволяют им бросить вызов вышестоящим эшелонам» (р. 266).

В приведенных фрагментах на разные лады муссируется одна мысль. В сообществе, возникающем на пустом месте, появляются (создаются) иерархически расположенные социальные роли. Индивиды и коллективные агенты (в разной мере консолидированные) стремятся присвоить себе верхние позиции в ролевой иерархии, использовать их для обогащения и сохранить их навсегда хотя бы для самих себя, а иногда и с правом передачи по наследству.

Теперь посмотрим, как выглядит процесс самоорганизации сообщества в социологии власти Макса Вебера<sup>7</sup>. Этот процесс начинается с креативного акта, который Вебер обозначает как явление харизмы. Центральный персонаж здесь – харизматический вождь (лидер), способный так или иначе внушить своему окружению готовность подчиняться. Но личная живая харизма недолговечна, и, чтобы ее организующий импульс не угас, она должна рутинизироваться, преобразуясь в наследственную. При этом рутинизируется и штаб управления:

«Только в момент зарождения харизматической власти небольшой слой восторженных учеников [*Jünger*] и приближенных соратников [*Gefolgenschaft*] готов видеть смысл своей жизни в идеалистическом служении вождю. Масса нуждается в длительном материальном обеспечении – иначе она разбежится».

Поэтому рутинизация харизмы сопровождается присвоением права на господство и на извлечение дохода с занимаемой позиции: «Харизматические нормы могут легко преобразоваться в традиционно-сословные (наследственно-харизматические) [характеристики]»<sup>8</sup>. Такова идеальная траектория рутинизации харизмы; такова логика социогенеза.

Реальное становление нового модуля власти затенено социальным конфликтом сложной конфигурации. Его участниками являются постоянно возникающая живая (личная) харизма и институты рутинизированной харизмы (харизмы крови и харизмы должности). Две рутинизированные харизмы конфликтуют друг с другом и вместе противостоят личной. Конфликт разворачивается как в центре модуля господства, так и в расходящихся от него концентрических кругах.

<sup>7</sup> См.: WEBER M. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr, 1972.

<sup>8</sup> Ibid. P. 144–145.

Конфликт между личной харизмой (изначальной и всегда могущей вновь возникнуть в дальнейшем) и харизмой должности хорошо виден в случае появления новой религии. Например, приверженцы первоначального христианства наделены личной харизмой как секта одержимых. В дальнейшем эта харизма рутинизируется как харизма должности (*Amtscharisma*), или институциональная харизма. Причт (сверху донизу) почитается независимо от его личных свойств, потому что он обладает харизматической аурой занимаемого места. Только так, говорит Вебер, была возможна бюрократизация церкви. Как харизматический институт иерократия претендует на политическую власть. Харизма церкви как учреждения радикально отвергается протестантизмом, возрождающим, в сущности, традицию первоначального христианства. На Западе борьба между ними после инициативы Лютера и раскола приобретает геополитическое измерение.

В общем, между всеми харизмами возникает напряжение (в истории долгое время главное значение имел конфликт между военной и храмовой знатью). Штаб управления привязан к господину или обычаем, или материально, или идейно. Если традиция слаба, а харизма господина угасла, то только привилегии могут сохранить верность штаба своему лидеру. А это затем приводит к автономистским тенденциям привилегированного слоя. Так обстояло дело с европейским феодализмом.

Чтобы противостоять иерократии, наместникам и вообще любым агентам присвоенной власти (*appropriierte Gewalt*), господин создает параллельный штаб управления. Если он опять привяжет его к себе привилегиями, то и параллельный штаб может превратиться затем в новую элиту, вступающую в борьбу не только со старой, но и со своим создателем. А если параллельный штаб управления основан на полном отделении собственного штата от средств управления, то появляется новый игрок – бюрократия. Но и это не все:

«С упадком первоначальных магической и военной функций вперед выходит экономическая функция. [...] Перестройка харизматического господства в чисто плутократическое приводит к появлению еще одного участника социального конфликта»<sup>9</sup>.

Перекрестно-круговая борьба между всеми этими игроками, ведущаяся не только за привилегии и силовое преобладание, но и за само существование, идет, как правило, с переменным успехом. То обостряясь, то затухая, она сопровождается компромиссами, слияниями и расколами. В ходе этой борьбы соперничают тенденции к теократии и цезаропапизму, к уни-

9 Ibid. P. 679.



тарности и федеральности. Сталкиваются самые разные варианты использования господства и разграничения сфер управления, разные способы поддержания баланса и порядка. Ход и результаты этой борьбы везде накладывают отпечаток на характер государства и общества.

Эти наблюдения сами по себе еще не теория. В теорию они превращаются, когда утверждается, что *так бывает всегда*, что такова одна из закономерностей социогенеза. Или, говоря словами Вебера, «типичный в истории процесс»<sup>10</sup>. Или, как пишут Бек и Годин:

«И, стало быть, мы не считаем, что происходившее в Советском Союзе во время Ежова представляет собой что-то особое и небывалое в истории. Наоборот, это был лишь особенно шокирующий [*particularly gross*] вариант того, что всегда происходит в бюрократическом государстве» (р. 267)<sup>11</sup>.

Сходство дискурса Вебера, с одной стороны, и Бека с Годиным, с другой, очень заметно. Респонденты Бека и Година в изложении последних, а поскольку нам известно только изложение, то можно сказать, что и сами авторы «Русской чистки» понимают происходящее в СССР вполне в согласии со схемой Вебера, который советского опыта не знал (он умер в 1920 году). Первоначальная компартия Ленина и Троцкого напоминает раннехристианскую общину, а партия, сколоченная после «термидора» сталинской кликой, – католическую церковь. Ставшие к ней в оппозицию левые и правые в равной мере напоминают протестантские секты, сохраняющие (возрождающие) изначальный дух партии. Верхний слой общества (партократия) оформляется по типу европейского феодализма. Рядом с ним возникает государственный бюрократический аппарат, в дальнейшем разделяющийся на несколько конкурирующих корпоративного типа ведомств – армия, полиция, охранка, так называемые «общественные» организации, культура, академия. Не стоит забывать и хозяйственный менеджмент – «новый класс» Джеймса Бернхэма на месте классической «буржуазии». И так далее, и так далее...

Перекличка между теорией, записанной Беком и Годиным, и схемой (структурой) социального конфликта в ходе рутинизации харизмы у Вебера настолько заметна, что требует объяснений. Вряд ли Хоутерманс и Штеппа читали Вебера. Так

**10** Ibid. P. 146.

**11** Существенная разница между представлениями авторов «Русской чистки» и Вебера только в том, что Бек и Годин относят все сказанное к бюрократическому обществу, а Вебер – к любому. Но в контексте настоящей заметки этой разницей можно пренебречь. Тем более, что Бек и Годин неразборчиво используют понятия «абсолютизм», «восточная деспотия», «феодализм», «бюрократическое общество», «тоталитарное общество», что сейчас, конечно, нуждается в специальном комментировании.

же маловероятно, что кто-то им Вебера пересказал<sup>12</sup>. Видимо, Вебер и Бек с Годиным просто думали одинаково, о чем и говорит английская народная (скорее, впрочем, джентльменская) мудрость «Great minds think alike». И такое совпадение – еще один повод отнестись серьезно к этой версии социального конфликта в раннем советском обществе.

Наверняка найдутся обрывки похожих дискурсов или намеки на них в необозримом гипертексте, имеющем то или иное отношение к советскому опыту. Этот ресурс не использован. Стоит поискать. Я написал эту заметку только с целью напомнить об этом. И не буду здесь развивать или критиковать изложенное выше представление о модулях власти в ранней фазе их становления. Вместо этого – во избежание возможных недоразумений – я лишь обозначу направление дальнейших рассуждений исходя из намеченной перспективы.

Приведенные извлечения из коллекции Бека и Година и социологии власти Макса Вебера применимы только для объяснения политических «чисток» *par excellence*, то есть репрессий на «аппаратных верхах». Масштабы репрессий в ходе коллективизации, форсированной индустриализации и «всеобщей облавы» на «неустроенных» индивидов были на один–два порядка выше. Они должны осмысляться в контексте экономического развития и макроэкономического регулирования. Как связаны друг с другом два разных потока репрессий и связаны ли они вообще – это особая проблема.

Далее, еще раз: согласно этой теории происходившее в СССР в 1930-е годы было не экзотикой, а самым стандартным явлением. Но это, разумеется, никак не означает, что в советском опыте не было ничего своеобразного. Рутинизация харизмы – это один из универсальных общественных процессов. Так думал и Вебер, и, позже, Эдвард Шилз и Шмуэль Эйзенштадт. Но энергетика и драматургия этого процесса могут быть очень разными. Остается вопрос о масштабах репрессий в ходе конфликта, и в особенности о массовых расстрелах (энергетика). Это совсем не обязательная импликация конкурентной рутинизации харизмы, и это надо объяснять отдельно. Остается и

**12** Кто из двух авторов больше ответствен за пассажи, так сильно напоминающие Вебера, сказать трудно. Штеппа – профессиональный историк. Вебер упоминается в его книге: ШТЕРПА К. *Russian Historians and Soviet State*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1962. P. 13, 36, 55. Но упоминается вскользь в пересказе статьи, где критикуются зависимость от Вебера медиевиста Дмитрия Петрушевского (очевидная и известная) и Роберта Вилпера (как будто бы неочевидная и потому вызывающая любопытство). К самому Веберу Штеппа, судя по всему, никакого интереса не испытывал; много раз упоминая русского советского медиевиста Александра Неусыхина, он ничего не говорит о том, что как раз Неусыхин сильно зависел от Вебера и даже был чуть ли не единственным его «толкачом» в советской науке. Хоутерманс историком не был, но он принадлежал к интеллектуальной элите, где мог общаться с людьми, знакомыми с текстами Вебера, и слышать что-то подобное от них. Но никаких указаний на круг общения Хоутерманса за пределами его узкой профессии в его русской биографии я не нашел. См.: ФРЕНКЕЛЬ В. *Профессор Фридрих Хоутерманс: работы, жизнь, судьба*. СПб.: Издательство ПИЯФ РАН, 1997.



другой вопрос: кто из участников рутинизации российской революционной харизмы одержал верх в этом конкурентном процессе, или, лучше сказать, *кем оказался тот, кто одержал верх* (драматургия)?

И, наконец, остается вопрос о том, как энергетика и драматургия этого процесса в постреволюционной России сказались на его результате ко времени его выхода (а) к «брежневскому плато», (б) началу перестройки и (в) постсоветской консолидации.